

МАТЕРИАЛЫ
И СООБЩЕНИЯ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ГЕНЕЗИСОМ И ПОЭТИКОЙ
ЭЛЕГИЙ БАРАТЫНСКОГО

© 2007 г. И. А. Пильщиков

Статья посвящена проявлениям межъязыковой интертекстуальности в поэтическом языке. В работе, построенной на материале элегий Баратынского 1820–1824 гг., рассмотрены примеры, когда языковая интерференция, связанная с инокультурным генезисом обсуждаемых стихотворений, приобретает телеологическое значение и оказывает прямое воздействие на их структуру и содержание.

This article is devoted to manifestations of interlinguistic intertextuality in poetic language. It takes up examples from Baratynsky's elegies of 1820–24 in which the interlanguage interference resulting from the foreign genesis of the poems in question acquires a teleological significance and exerts a direct influence on their structure and content.

Настоящая работа посвящена феноменам межъязыковой интертекстуальности и языковой интерференции в поэтическом языке, то есть фактам влияния одного национального языка на другой, осуществляемого через посредство поэтического языка и поэтических текстов. Особый интерес вызывают примеры, когда межъязыковая интерференция, непосредственно связанная с инокультурным генезисом обсуждаемых текстов, приобретает телеологическое значение и оказывает прямое воздействие на их содержание и структуру, то есть берет на себя темо- и жанрообразующую функцию. В таких случаях поэтика теснее всего связана с лингвистикой.

Воздействие одного языка на другой всегда происходит в ситуации языкового контакта, даже если он локализован не во “внешнем” пространстве и времени, а в сознании билингвы. Более того, для контакта двух поэтических и литературных языков второй случай не менее типичен и частотен, чем первый: их особенностью, писал Н.С. Трубецкой (1927), является “способность влиять друг на друга вне тех пространственно-временных условий, в которых обычно влияют друг на друга живые народные языки. Один живой народный язык может влиять на другой, только если оба они существуют одновременно и географически соприкасаются друг с другом. Между тем для литературных языков эти условия необязательны (...)” [1]. В эссеистической форме о том же раньше Трубецкого сказал О.Э. Манделштам (“Заметки о Шенье”, 1915): “...В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой

свободы братски родственны и по-домашнему аукаются” [2]. Языковой контакт в акте креативной рецепции иноязычного текста, так же как и в случае “обычного” (социокультурного) языкового контакта, может приводить к языковой интерференции. Отсюда – тесная связь ее с межъязыковой интертекстуальностью.

Для истории и типологии поэтического языка наиболее значима поэтическая идиоматика. Сюда относятся не только необычные, индивидуально-авторские обороты, но и любые клишированные словосочетания. В принципе, в поэтическом языке всякое свободное сочетание может “идиоматизироваться” и начать восприниматься как примета стиля, жанра, школы или манеры конкретного автора. В плане изучения заимствованной поэтической фразеологии дополнительного изучения заслуживают семантические и фразеологические галлицизмы. Так, у Баратынского в элегических стансах “Две доли” (1823) мы читаем:

Надѣйтесь, юноши кипящие!¹
Летите: крылья вамъ даны;
Для васъ и замыслы блестящие
И сердца пламенные сны [5, с. 24].

Прилаг. *кипящие* употреблено в соответствии с переносным значением франц. *bouillant* ‘кипящий; кипучий’. Слово *сны* употреблено в соответствии с семантикой франц. *rêves* (‘сны; мечты, грезы’). Эпитеты *блестящие* и *пламенные* также, вероятно, “галльского” происхождения (ср. *brillants, ardents*). О *пламенныхъ снахъ* Баратынский дальше говорит: *Гоните прочь ихъ рои прельстительный (...)*;

¹ Это реминисценция начальной строки вольтеровского “Précis de l’Ecclésiaste” (*Dans ma bouillante jeunesse (...)*) [3, с. 439; 4, с. 296–297].

здесь *рой* отражает двойственную семантику французского *essaim* ‘рой; множество’ [6]. Фразеологию *сна/мечты* и *роя* В. В. Виноградов справедливо отнес к “условным формам элегического стиля” [7, с. 175–176]. Ср. взятые из элегий Баратынского примеры со словосочетанием *легкий рой* (resp. франц. *essaim léger*): <...> *Живыхъ восторговъ легкой рой* <...> (“Элегия”, 1820); <...> *Да поздно юныхъ сновъ утратитъ легкой рой* <...> (“Младые Грации сплели тебе венок...”, 1820–1821); <...> *Исчезнетъ легкой рой веселій и забавъ* <...> (“Дориде”, 1822).

Разумеется, собственно элегические (и шире – поэтические) галлицизмы (и шире – европеизмы) необходимо отличать от галлицизмов общеязыковых, которые в русской элегии тоже нередко встречаются. В таких случаях нужно говорить не об ориентации на французскую поэтическую семантику, а о языковой интерференции, характерной для речи двуязычных: Батюшков, Пушкин, Баратынский и многие из их близких знакомых были полными билингвами, они владели французским языком, как родным.

Проникновение галлицизмов в поэтическую речь происходило на фоне общей ориентации русского языка того времени на французский синтаксис и стилистику. У современников Пушкина (особенно часто – у раннего Баратынского) можно найти многочисленные примеры синтаксических галлицизмов (к их числу относятся абсолютные конструкции – несогласованное обособленное определение, независимый деепричастный оборот и т. д.). Даже в стихах позднего Баратынского, перенасыщенных славянской архаикой, мы находим конструкции, которые трудно понять, не восстановив мысленно их французский аналог. Вместе с тем на русской почве галлицизмы легко скреплялись с исконно русскими языковыми образованиями. В некоторых случаях бывает нелегко решить, какова степень активности иноязычного субстрата. Учет подобных “фоновых” явлений помогает изучению заимствованной поэтической фразеологии.

Генетически иноязычные сочетания складывались в формулы, которые постепенно теряли связь с языком-источником и начинали образовывать собственные интертекстуальные цепочки. На их основе выстраивалась самостоятельная топика, риторика и фразеология русской элегии, уходящая своими корнями в западноевропейскую и античную словесность. Вместе с тем, экспансия среднего стиля в лирике младокарамзинистов благоприятствовала кроссжанровым процессам развития поэтического языка. С одной стороны, язык элегии как господствующего жанра эпохи влиял на язык соседних жанров, с другой стороны, нередко случаи проникновения в язык элегии таких формул, которые не являются элегическими по своему происхождению.

Посмотрим, как описанные факторы действуют совокупно в рамках отдельных текстов, представляющих жанр элегии.

1. Элегия Баратынского “Утешение” (“Подражание Лафару”)

Вернемся к процитированному выше примеру словосочетания со словом *рой*: <...> *Живыхъ восторговъ легкой рой* <...> (“Элегия”, 1820). Он взят из элегии Баратынского, которая в разных ее редакциях начинается по-разному (“Заснули роши надъ потокомъ...”, “Дремала роца надъ потокомъ...”, “Свободу давъ тоскъ моей...”). Оригиналом этого стихотворения послужил мадригал Ш.-О. Лафара (1644–1712) “À Madame la Comtesse de Caylus” (“Госпоже графине де Келюс”), который, конечно, не относится к жанру элегии. Нет у Лафара и эквивалентов выражения *легкой рой восторговъ*, а весь вольно переведенный Баратынским пассаж представляет собой апострофу – упрек Амуру:

Et n’es-tu pas cruel, Amour,
Toi que je fis dès mon enfance
Le maître de mes plus beaux jours,
D’en laisser terminer le cours
Par l’ennyeuse indifférence?²

У Баратынского:

Невольникъ истины угрюмой,
От(нынѣ) съ праздною душой,
Живыхъ восторговъ легкой рой
Мнѣ замѣнится холодной думой
И мертвой сердца тишиной! [8]

Выражение *невольникъ истины угрюмой* (ср. фразеологию франц. *esclave de qch* ‘невольник чего-л.’ [7, с. 141]) отсутствует в ближайших литературных источниках стихотворения. При подготовке сборника 1827 г. Баратынский избавился от синтаксического галлицизма – несогласованного приложения (*Невольникъ истины угрюмой* <...> *Мнѣ замѣнится* <...> → *Наставлень истиной угрюмой* <...> *Я замѣню* <...>):

Наставлень истиной угрюмой,
Отнынѣ съ праздною душой,
Живыхъ восторговъ легкой ро(й)
Я замѣню холодной думой
И сердца мертвой тишиной! [5, с. 49]

Баратынский не только элегизировал свой перевод стилистически, но и прямо обозначил его новую жанровую принадлежность. Впервые подражание Лафару было напечатано в 1820 г. в “Невском Зрителе”, в подборке из двух стихотворений под общим заглавием “Элегии” [8]. Исправ-

² Перевод: *И не жесток ли ты, Амур, // Ты, которого я с детства // Выбрал наставником своих прекраснейших дней, // Не жесток ли ты в том, что позволил прервать их течение // Скучному безразличию?*

ленная публикация появилась через год в “Сыне Отечества” под заглавием “Элегия” [9]. В сборнике 1827 г. стихотворение появилось под заглавием “Утешение” [5, с. 49–50]³ и было помещено в раздел “Элегии. Книга третья”.

На этом “элегизация” лафаровского мадригала не закончилась: Баратынский не просто трансформировал французский оригинал, но и ввел элегические фрагменты, не имеющие в нем никаких соответствий. Так, целых четыре стиха из первоначальной редакции “Утешения”, непосредственно предшествующие процитированным выше, взяты из самой популярной элегии 1810-х годов – “La Chute des feuilles” (“Падение листьев”) Ш.-Ю. Мильвуа, которую Баратынский позже перевел на русский язык [3, с. 365, 367–368]. Вот какой пассаж Баратынский добавил в текст Лафара:

“И такъ исчезли” думаль я,
 (<)Весеннихъ лѣтъ мечты златыя,
 Часы приспѣли роковыя
 И вянетъ молодость моя!(<”) [8]

Ключевое слово в этих стихах – *исчезли* (“мечты весенних лет”). Тема восходит к “La Chute des feuilles” Мильвуа:

Et je meurs! de leur froide haleine
 M’ont touché les sombres autans⁴;
 Et j’ai vu comme une ombre vaine
 S’évanouir mon beau printemps [10, p. 58]⁵.

В подражании Баратынского (“Падение листьев”) это место переведено с использованием глаголов *исчезнуть* и *вянуть*:

<...> Я вяну: легкою мечтой
 Мелькнувъ исчезъ мой вѣкъ молодой [11]⁶.

В первом русском переводе “La Chute des feuilles”, сделанном М.В. Милоновым (“Падение листьев. Элегия”), обсуждаемый фрагмент французского текста принял следующий вид:

Осенни вѣтры возшумѣли
 И дышутъ хладомъ средь полей,
 Какъ легкій призракъ улетѣли
 Златыя дни весны моей! [13]

У Баратынского в первоначальной редакции “Утешения” эпитет *златыя* передан *мечтам* (“гре-

зам”), а в позднейшей версии “Падения листьев” – *снам* (“грезам”; ср. полисемию франц. *rêves*):

”И вяну я: лучи дневные
 ”Вседневно тягче для очей;
 ”Вы улетѣли, *сны златы*(<e>
 ”Минутной юности моей!(<”) [5, с. 42]⁷

Обратим внимание на тот факт, что и в “Утешении”, и в “Падении листьев” одинаковые языковые формы сконцентрированы во внутреннем монологе главного героя (разница заключается лишь в том, что в “Утешении” лирический герой отождествлен с автором, а в “Падении листьев” объективирован)⁸.

Третья строка в анализируемом отрывке подражания Лафару – *Часы приспѣли роковыя*. И глагол, и прилагательное Баратынский повторит в ранней редакции “Падения листьев” (1823):

<“)О прорицанье роковое!
 Твой страшный голосъ помню я.
 Съ ненастной осенью приспѣть,
 Вѣщало ты, мой смертный часъ,
 И для страдальца пожелтѣть
 Дубравный листь въ послѣдній разъ(<”) [11].

Наконец, заключительный стих обсуждаемого отрывка из подражания Лафару: <...> *И вянетъ молодость моя!* – представляет собой близкий перевод 20 стиха из “La Chute des feuilles” (ред. 1811–1812 гг.): <...> *Ta jeunesse sera flétrie* <...> = <...> *Твоя молодость увянет* <...> [10, p. 22]. При этом в подражании Лафару строка Мильвуа переведена точнее, чем во всех трех переводах “Падения листьев”, сделанных Баратынским в 1823–1826 гг.! Только этот последний стих (из четырех стихов комментируемого фрагмента) Баратынский оставил в неприкосновенности, печатая элегию из Лафара вторично в “Сыне Отечества” (1821):

Все обмануло, думаль я,
 Чѣмъ сердце пламенное жило,
 Что восхищало, что томило,
 И вянетъ молодость моя! [9]

При подготовке издания 1827 г. поэт ликвидировал единственный оставшийся след “La Chute des feuilles”:

<...> Что восхищало, что томило,
 Что было цвѣтомъ бытія! [5, с. 49]

³ В оглавлении сборника – с подзаголовком “(подраж(аніе) Лафару)” [5, с. II].

⁴ *Autan* – согласно «Dictionnaire de l’Académie française», бурный южный ветер (< лат. *altanus* ‘альтан, морской ветер’).

⁵ Перевод: *И я умираю! своим холодным дыханием // Меня коснулись мрачные вихри; // И я увидел, как, подобно пустой тени, // Исчезла моя прекрасная весна.*

⁶ *Мечта* здесь, в отличие от элегии из Лафара, означает “привидѣніе, призракъ; пустое, ложное, явленіе, обманчивое видѣніе” [12, ч. III, стб. 762, ср. 763].

⁷ Эти вариации интересно сравнить с вариацией на тему “La Chute des feuilles” в непереводе послания Милонова “К сестре моей” (1812): *Мечты сокрылися отрадны, // Ихъ грозный опытъ отогналъ, // Повѣяль вѣтръ осенній, хладный, // И цвѣтъ весны моей увялъ!*... [14].

⁸ О миграциях словесных тем из “Падения листьев” в другие произведения в соответствии с местом, которое эти словесные темы занимают в композиционной схеме, см. [4, с. 300–304].

Окончательная “деэлегизация” “Утешения” произошла в сборнике 1835 г., где все стихи расположены не по жанровому принципу, а вперемешку, и где “Утешение” переименовано в “Подражание Лафару” без указания жанровой принадлежности [15, с. 155–156]. Век элегии кончился.

2. Об одном библеизме у Жуковского, Батюшкова и Баратынского

Помимо западноевропейской поэтической идиоматики, русская элегия “золотого века” усваивала античную и библейскую лексику и фразеологию. Проникновение в элегическую топику библейской идиоматики происходило как через французскую традицию стихотворных переложений священных текстов, так и через славянские переводы Библии.

В элегии Баратынского “Родина” (1820–1821) есть строка: <...> *Не призракъ счастья, но счастье нужно мнѣ* [5, с. 21]. Что такое *призракъ счастья*? Из контекста следует, что речь идет о мнении света. Это станет еще более очевидным, если учесть, что обсуждаемое выражение восходит к уже упоминавшемуся “*Précis de l’Ecclésiaste*” Вольтера: *Brillant opinion, fantôme de bonheur* <...> (= *Блестятельное мнение, призрак счастья* <...>). Цитата из вольтеровского “Экклесиаста” появляется у Баратынского в библейском (точнее, евангельском) контексте: в стихе <...> *Испивъ безвременно всю чашу испытаній* <...> перефразированы слова Иисуса “*можете ли пити чашѣ, ꙗже азъ ѿмамъ пити* <...>”; “*чашѣ ѡубо мою ѿспіѣта* <...>” (Мф 20: 22–23; ср. Мк 10: 38–39) [3, с. 397]. Другой пример фразеологического воздействия “*Précis de l’Ecclésiaste*” находим в элегическом послании Баратынского Булгарину: <...> *Въ души, больной отъ пищи многой* <...> [5, с. 156]; ср. у Вольтера: *J’accablai mon esprit de trop de nourriture* <...> [3, с. 429]. Обе цитаты звучат совершенно “по-библейски”, но в самой “Книге Экклесиаста, сиречь проповедника царя Соломона” соответствующих слов нет.

В “северных” исторических элегиях Батюшкова (“На развалинах замка в Швеции”, 1814–1815) и Баратынского (“Финляндия”, 1-я ред., 1820) мы неожиданно обнаруживаем значимую цитату из текста “южной” (библейской) культуры [3, с. 374, 432]:

*Гдѣ жь вы, о сильные, вы Галловъ бичъ и страхъ,
Земель полнощныхъ Исполины <...>?
Погибли сильные! [16]*

<...> Люблю вспоминать о сильныхъ
прежнихъ дней <...> [17]

И субстантиват *сильные*, и вопрошание (*Гдѣ <...> вы(?)*) ранее встречалось в стихотворении, которое наряду с батюшковским “Замком в Швеции” стало главным источником “Финляндии” – в трени-

ческой “Песни Барда над гробом Славян-победителей” Жуковского [3, с. 371–377]:

*Какъ пали сильные? какъ сильныхъ громъ утихъ?
Гдѣ вы, сыны побѣды(?) гдѣ славныхъ Воевъ сила?
Отвѣтствуй, мрачная безтрепетныхъ могила! [18]*

Пассаж Жуковского начинается с прямой цитаты из протоисточника – это 1-я глава 2-й Книги Царств, плач Давида о смерти Саула и Ионафана: “*какъ падѣша сильнїи*”; “*какъ падѣша сильнїи посреде брани*”; “*какъ падѣша сильнїи, и побѣдѣша ѡрѣжѣа браннаа*” (2 Цар 1: 19, 25, 27). В Септуагинте: “*пѡς ѣлесав δυνατοї*”; “*пѡς ѣлесав δυνατοї ѣν μέσῳ τοῦ πολέμου*”; “*пѡς ѣлесав δυνατοї καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικά*”. Так выясняется генезис субстантивата *сильные* ‘могучие воины, богатыри’ – это калька греч. οἱ δυνατοί (ср. [19, вып. 24, с. 143]). См. стихотворный перевод этого библейского эпизода, принадлежащий П.Г. Ободовскому и напечатанный с подзаголовком “Элегия”:

*Такъ пали Сильные, какъ кедры распростерлись!
Сауль, Ионаанъ, мнѣль васъ не вспоминать?
Не отъ одной руки Могушіе низверглись –
На васъ обрушилась вся вражеская рать! [20]*

Трудно сказать, помнил ли Баратынский библейский контекст, в котором берет начало анализируемая топика, но можно утверждать, что в соответствующих фрагментах своей элегии он, несомненно, опирался не только на Батюшкова, но и на Жуковского, – действительно, в первой редакции “Финляндии” повторен введенный Жуковским мотив требования ответа от павших, причем в императиве употреблен тот же глагол (*отвѣтствовать*): <...> *Не вы-ль? отвѣтствуйте! вамъ слышенъ голосъ мой* <...> [17]. А в элегии “Рим” (1821), связанной с “Финляндией” темой погибшей древней культуры, снова появляется субстантиват *сильные* в составе вопроса с местоименным наречием *гдѣ*:

*Градъ пышный, гдѣ твои чертоги,
Гдѣ сильные твои? о родина мужей! [5, с. 20]*

В переработанной редакции “Финляндии” Баратынский (как это у него нередко бывает) завуалировал свои источники. Между тем, присутствие реминисценции из 2 Книги Царств в исторических элегиях и в элегическом (треническом) “плаче” мотивировано не только важными для раннеромантической поэтики параллелями между скандинавской и библейской древностью, но и эмоциональной доминантой элегического жанра. Н.Ф. Остолопов в статье “Об Элегии”, предназначенной для его знаменитого “Словаря древней и новой поэзии”, прямо указывал на *элегический* характер плача Давида: «Въ примѣръ такихъ (тренических. – И.П.) Елегїи можно привести слѣдующїй плачь Давида при извѣстїи о смерти Саула

и сына его Ионафана: “⟨...⟩ Како падоша силніи посредѣ брани ⟨...⟩ Како падоша силніи и погибоша оружія бранная?..⟨...⟩” (2. Кн. Цар. гл. 1)» [21].

3. Библизмы в элегиях Баратынского 1823–24 гг. (“Истина”, “Могила”, “Оправдание”, “Буря”)

Элегии Баратынского 1823–1824 гг. никогда не рассматривались с точки зрения использования в них библейской идиоматики. Между тем она, несомненно, требует идентификации и описания, а ее концентрация в произведениях одного периода нуждается в объяснении с историко-литературной точки зрения⁹. Примечательно, что архаизмы и библизмы появляются в произведениях разной тематики, однако объединяет их медитативно-философская установка: таковы элегии “Истина”, “Могила” и “Буря”, включенные в сборнике “Стихотворения Евгения Баратынского” 1827 г. [5] в первую книгу элегий (куда вошли медитативно-философские элегии). Имеются библизмы еще в одной элегии из первой книги – “Родина” (см. выше). Исключение представляет собой любовная элегия “Оправдание”, попавшая в третью книгу элегий сборника 1827 г.; но именно в этой элегии при подготовке сборника все библизмы были сняты – в окончательной редакции их нет.

Элегия “Истина” (1823) [5, с. 15–17] написана редкой формой разноstopного ямба (Я53жм), позже использованной Баратынским в элегии (?) “На что вы, дни! Юдольный мир явленья...” (“Сумерки”). Жанровый подзаголовок, выставленный в первой редакции стихотворения (“Истинна. Ода”), указывает на связь его с традицией философской оды XVIII в. [23] и свидетельствует о его жанровом синкретизме [24]. Стихотворение начинается с заявления о тщетности надежд на счастье (строфы 1–2). Третья строфа резюмирует этот тезис – и в ней появляется первая библейская реминисценция:

*Безумень ты и всё твои желанья:
Мнѣ тайный голосъ рекъ ⟨...⟩*

Это парафраза из Евангелия от Луки – из притчи о богатом человеке, которому Бог говорит о тщетности стремления к земным благам: “Рече же ѣмъ бгъ: взѣмне ⟨...⟩” и т. д. (Лк 12: 20). В следующем затем описании явления Истины глаголы высокого стилистического регистра (*узрѣль* – *вѣщала*) опираются не на библейский, а на одический интертекст:

*⟨...⟩ Вдругъ Истину (то не было мечтаньемъ)
Узрѣль передъ собой.*

⁹ Видимо, этот поворот как-то связан с изменением отношения Баратынского к элегии и поиском новых форм: именно с 1823 г. продуктивность эгегического жанра в творчестве поэта пошла на убыль [22].

*“Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью!
(Вѣщала) захочу
И страстнаго отрадному безстрастью
Тебя я научу.*

*⟨...⟩ Я бытія всё прелести разрушу,
Но умъ наставлю твой ⟨...⟩”*

Точно так же Державин описывал явление “богоподобной царевны” Фелицы в оде “Видение Мурзы” (опубл. в 1791 г.):

*Видѣнье я узрѣль чудесно:
Сошла со облаковъ жена, –
Сошла, – и жрицей очутилась,
Или Богиней предо мной.
⟨...⟩ “Мурза! она вѣщала мнѣ ⟨...⟩” [25]*

Свѣтильникъ истины, указующий герою *путь ко счастью*, – опять библейская (на этот раз ветхозаветная) метафора. Ср.: “*Занѣ свѣтильникъ заповѣдь законъ и свѣтъ, и пѣть жизни ⟨...⟩*” (Притч 6: 23); “*Свѣтильникъ ногъ моихъ законъ твой, и свѣтъ стезѣмъ моихъ*” (Пс 118: 105). Суц. *прелестъ* Баратынский употребляет не в новом (“французском”), а в старом, церковнославянском значении “обманъ, соблазнъ” [12, ч. V, стб. 219]. В “Словаре Академии Российской” приведен близкий пример словоупотребления: *Прелести міра сего* (у Баратынского – *прелести бытія*).

Примечателен финал элегии:

*Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ
Начнетъ блѣднѣть и все, что сердцу мило,
Забыть придется мнѣ,*

*Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти:
Чтобъ жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти.*

Негации подвергается оборот *всѣ, что сердцу мило*, употребленный Пушкиным в элегии “Погасло дневное светило...” (1820): *⟨...⟩ И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мило ⟨...⟩* [26]. Позже Пушкин повторил его в письме Онегина Татьяне, где слышен также отзвук баллады Жуковского “Алина и Альсим”: *Ото всего, что сердцу мило, // Тогда я сердце оторвалъ ⟨...⟩* [27]; *Но ахъ! отъ сердца то, что мило, // Кто оторветъ!* [28]¹⁰.

Финальный катрен (*Раскрой тогда* ⟨то есть перед смертью. – И.П.⟩ *мнѣ очи, // Мой разумъ просвѣти ⟨...⟩*) инвертирует тему из 12 псалма: “*просвѣти очи мои, да не когда оуснѣ въ смѣртѣ*”

¹⁰ Ср. в другой южной элегии Пушкина (“Редет облаков летучая гряда...”, 1820, ред. 1826 г.): *⟨...⟩ Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мило ⟨...⟩* [29]. У Баратынского в “Пирах” (1821): *Не прочно то, что сердцу мило; // Кто сердцу вѣритъ, тотъ глупецъ* [30]. В позднюю редакцию своего перевода “Падения листьев” Мильвуа (опубл. в 1827 г.) Баратынский ввел стих *⟨...⟩ Покину все что сердцу мило ⟨...⟩* [5, с. 42].

(Пс 12: 4, ср. 118: 130). Ср. также: “**Ѡ**крый Ѡчи мой, ѡ ѡразумѣю чюдеса Ѡ закона твоего” (Пс 118: 18); “просвѣти наша мѣсли, Ѡчеса <...>” (молитва Василия Великого “Тя благословим, Вышний Боже...”); “просвѣти ѡумь мой свѣтомь стѣгво егѣа твоего <...>” (молитва св. Антиоха “Вседержителю...”); и др. Ясно, что в этой элегии использование библеизмов мотивировано просопопеей Истины, представленной в образе божества. Отсюда – библейские и одические литературные ассоциации, стилистически реализующиеся в лексике высокого слога (не обязательно церковнославянской).

В первой книге элегий сборника 1827 г. непосредственно за “Истиной” следует элегия “Могилы” (в первоначальной и в окончательной редакции она носит заглавие “Череп”, 1824) [5, с. 18–19]. Этой элегии также свойственна торжественная, размеренная интонация. В 8-й ее строке встречаем архаический библеизм:

<...> Еще носиль волось остатки онъ (череп. – *И. П.*);
Я зрѣль на немъ ходъ постепенный тлѣнья.
Ужасный видъ! какъ сильно пораженъ
Имъ мыслящій наслѣдникъ разрушенья!

Метафора *наслѣдникъ разрушенья* построена по контрастной аналогии с новозаветным выражением *наслѣдницы <...> жѣзны вѣчныя* = κληρονομία <...> ζωής αἰώνιου (Тит 3: 7). Ср. также в 1 Послании Павла к Коринфянам: “<...> плоть и кровь црѣтвѣа вѣа наслѣдичи не мортъ, ниже тлѣние нечѣтнѣа наслѣдствѣтъ” (1 Кор 15: 50). Гл. *наслѣдовать* и сущ. *наслѣдники* сохранены в Синодальном переводе Нового Завета на русский язык.

В славянском Четвероевангелии глаголы *наслѣдичи, наслѣдовати и наслѣдствовати* (животъ вѣчный) (Мф 19: 29; Мк 10: 17; Лк 10: 25; 18: 18) калькируют греч. (ζῶην αἰώνιον) κληρονομέω ‘наследовать; получать (в удел) (вечную жизнь)’. В этом значении глагол *наслѣдовать* употреблен у Баратынского в 65 стихе элегии “Запустение” (“Я посетил тебя, пленительная сень...”, 1834). Поэт говорит: *Онъ <дух отца. – И. П.> убѣдительно пропочитъ мнѣ страну, // Гдѣ я наслѣдую безсмертную весну <...>* [15, с. 117] – (то есть ‘получаю в удел бессмертие’ – “вечную весну” Элизия).

Сущ. *разрушенье* в значении ‘тление, смерть’ встречается у Баратынского в следующей, 66-й строке из элегии “Запустение”: <...> *Гдѣ я наслѣдую безсмертную весну, // Гдѣ разрушенія слѣдовъ я не примѣчу <...>* [15, с. 117–118] – и в элегии “Буря” (конец 1824), где сказано, что *злбный духъ <...> человекка подчинилъ <...> немощи <...> и разрушенью* [5, с. 26]. В элегии “Могилы” *разрушенье* рифмуется со своим синонимом *тлѣнье*.

Из приведенных примеров видно, что Баратынский употребляет слово *разрушенье* в таких контекстах, где славянский (и русский) Новый

Завет использует слово *тлѣние* (в соответствии с флора ‘гибель, разрушение’ в Септуагинте). Аналогичные примеры можно найти в текстах Пушкина. Во французских переводах Библии в этих случаях используется сущ. *corruption* ‘тление, разложение’ (в соответствии с *corruptio* в Вулгате). По-видимому, русское словоупотребление литераторов пушкинского круга обусловлено влиянием французского языка: романский корень *-romp-/ -rip-* имеет то же значение, что русский *-рух-/ -руш-*, и по внутренней форме слово *cor-rupt-ion* означает, собственно, *раз-руш-ение*.

Следующая далее сентенция опирается на библейские концепты *благости* и *правоты*, реализующиеся в предикативных прилагательных *благъ* и *правъ*:

Что говорю? Стократно *благъ законъ*,
Молчаньемъ ей (истине. – *И. П.*) уста запечатлѣвший;
Обычай правъ, усопшихъ важный сонъ
Намъ почитать издревле повелѣвший!

Благъ и *правъ* – библеизмы, отсылающие к ветхозаветным характеристикам Господа. Ц.-слав. *блгій* ‘добрый, хороший’ по своему значению отличается от рус. *благой* ‘своенравный’ [12, ч. II, стб. 196]. В Ветхом Завете прилаг. *блгъ, блгій* (др.-евр. ברוך, греч. αγαθός) – это один из главных атрибутов Всевышнего (2 Пар 30: 19; Пс 85: 5; и др.) Немаловажно, что это прилагательное встречается в зачине нескольких псалмов (105: 1; 106: 1; 117: 1; 135: 1). Еще одно ветхозаветное определение Бога и его атрибутов – *правъ*; ср. заключительный стих из книги пророка Осии: “<...> *правы пѣтїе гдни <...>*” (Ос 14: 10) – и цитату из Апокалипсиса: “*Ѡй, гдн вѣе вседержителю, истинни и правн сдѣи твои*” (Откр 16: 7; ср. 19: 2). Баратынский прекрасно осознавал ветхозаветные импликации обоих определений – в “Сцене из Поэмы: Вера и Неверие” (1829) он применяет их к Создателю в характерном вопросительно-негирующем контексте: *Ужель Не правъ, не благъ Создатель ихъ <людей. – И. П.>?...* [15, с. 238].

В редакции 1827 г. элегия “Могилы” завершается так:

Живи живой, тлѣй мертвый! *возкорбитъ*,
Кто до поры открытый взоръ получить.
Пусть радости живущимъ жизнь дарить,
А смерть сама ихъ умереть научить!

Возкорбѣти – торжественный церковнославянизм [12, ч. I, стб. 634]; ср.: “*возкорбѣхъ печалїю моею <...>*” (Пс 54: 3).оборот *кто до поры открытый взоръ получить* следует интерпретировать как ‘тот, кто до времени узнает истину’. Учитывая регулярное соответствие рус. *взоръ* и франц. *les yeux* ‘глаза’, можно сопоставить словосочетание *открытый взоръ* с франц. *ouvrir les yeux à qn sur qch* ‘открыть глаза (взор) кому-л. на что-л., показать

действительное положение вещей'. Перед нами та же тема, что и в "Истине" («... раскрой тогда мнѣ очи (...)), только в "Истине" она дана в церковнославянско-библейском ключе, а в "Могиле" – в "галльском". В окончательной редакции элегии Баратынский избавился от стилистической дисгармонии, отказавшись не только от церковнославянизма, но и от галлицизма:

Природныхъ чувствъ мудрецъ не заглушить
И отъ гробовъ отвѣта не получить:
Пусть радости живущимъ жизнь дарить,
А смерть сама ихъ умереть научитъ [15, с. 187].

Прославленная элегия 1824 г. "Оправдание" в ранней редакции [31] открывалась экспозицией от первого лица:

Я силился – счастливой старины –
Возобновить счастливыя мечтанья,
Взывать къ тебѣ, взывать отъ глубины
Души моей, исполненной страданья.
Вотще, увы! печальныхъ строкъ моихъ
Не хочешь ты отвѣтомъ удостоить,
Не тронулась ты нѣжностію ихъ
И презрѣла – мнѣ сердце успокоить.
Виновень я и въ памяти твоей
Не оживу! прощенья у жестокой
Не вымолю! Я былъ невѣренъ ей:
Нѣтъ жалости къ тоскѣ моей глубокой,
Вниманья нѣтъ къ мольбамъ любви моей.

Поэт обращается к любимой, как Псалмопевец к Господу. *Взывать къ тебѣ (...)* отъ глубины (...) – цитата из начального стиха 129 псалма (De profundis): "И́зъ глѣбинѣ възвѣхъ къ тебѣ, гдѣ". *Вниманья нѣтъ къ мольбамъ любви моей* – "негативная" парафраза 2-го стиха из того же псалма: "Дѣвѣдѣтъ оуши твоѣи внѣмлющѣ гласъ молѣніа моего (...)".

В "Оправдании" находим выразительный пример стилистической дифференциации синонимов, сохраненной во всех редакциях элегии. Высокий церковнославянизм *обрѣтати* применен к героине стихотворения, а нейтральный русизм *находить* – ко всем другим женщинам: (...) *Ихъ находя въ моемъ воображеньи, // Тебя одну я въ сердцѣ обрѣталъ*. Позднее аналогичным приемом воспользовался Лермонтов, применивший его в элегии "Нет, не тебя так пылко я люблю...":

Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

В окончательной редакции "Оправдания" все библеизмы сняты, хотя именно они задали стилистическую оппозицию, позволившую противопоставить "низкое" и "высокое", "земное" и "небесное" и провести границу между синонимами *находить* и *обрѣтати*.

Еще менее ортодоксально использование библейской топики в элегии "Буря" (конец 1824) [5, с. 26–28]:

Завыла буря; хлябь морская
Клокочетъ и реветъ, и черные валы
Идутъ, до неба возставая,
Бють, гнѣвно пѣняся, въ прибрежныя скалы.

Красноречивая деталь – *до неба* – предваряет следующие, более явные библейские реминисценции. Псалмопевец так описывает "дела Господни" "в море" и "в водах многих": "Рече, и стѣдѣхъ вѣренъ, и вознесошася волны егво: восходѣтъ до небесъ и низходѣтъ до безднъ" (Пс 106: 25–26).

Как и в других случаях, библеизмы перемежаются лексикой высокого стиля, не имеющей явных связей с библейскими контекстами:

Чья непріязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила въ тучи облака
И на краю небесъ ненастье зародила?
Кто, возмутивъ природы чинъ,
Горами влажными на землю гонитъ море?

Прилаг. *непріязненная* означает 'враждебная' [12, ч. III, стб. 1355] и использовано здесь в специальном значении 'относящаяся к злому духу, дьяволу' [19, вып. 11, с. 255]. Слово *чинъ* употреблено в значении 'порядок' [12, ч. VI, стб. 1296] в соответствии с ц.-слав. *чинъ* 'порядок, устройство'.

На заданный вопрос (*Кто (...)?*) Баратынский дает ответ, который в силу своей очевидной неканоничности несколько раз сталкивался с цензурными трудностями и в конце концов был вовсе запрещен к печати. 9 марта 1825 г. Н.В. Путьята писал из Москвы А.А. Муханову в Петербург о "Буре" Баратынского: "«...» цензура не пропустила ее за слѣдующіе стихи:

Не тотъ ли злобный духъ геенны властелинъ
Что по вселенной розлилъ горе? и проч.

Не думаю чтобъ ваши евнухи Музъ были снисходительнѣе и чувствительнѣе сдѣшнихъ (sic!) къ красотама ихъ; на всякій случай посылаю ее тебѣ, попробуй, авось либо пропустятъ" [32]. Элегию всё-таки удалось отстоять и опубликовать в московской "Мнемозине". Тем не менее, спустя восемь лет фрагмент, разрешенный для публикации в "Мнемозине" (1825) и в издании 1827 г., был изъят из сборника 1835 г. по требованию Санкт-Петербургского цензурного комитета. На заседании комитета 14 марта 1833 г. по представлению цензора Н.И. Бутырского решено было исключить "из описанія бури стихи:

Не тотъ ли злобный духъ геенны властелинъ
Что по вселенной розлилъ горе?
Что человекъ подчинилъ
Желаньямъ, немощи, страстямъ и разрушенью,

И на творенье ополчилъ
 Всѣ силы данныя творенью?
 Земля трепещетъ передъ нимъ:
 Онъ небо заслонилъ огромными крылами
 И двигаетъ ревущими водами
 Бунтующимъ могуществомъ своимъ, –

Комитетъ призналъ стихи сїи подлежащими за-
 прещенію” [33].

Что же смутило цензоров? Вероятно, противоре-
 чие, в которое тематика и стилистика элегии
 входили с идеологией их протоисточника – Библии.
 Геенна (греч. γέεννα от др.-евр. גֶּהֶן גַּ' *gē hinnōt*
 ‘долина Гинном’) – свалка нечистот на южной
 стороне Иерусалима, где постоянно горел огонь
 (*геенна огненная*). У евангелистов (Мф 5: 22, 29–30;
 Мк 9: 43–47; и др.) этот образ символизирует веч-
 ное мучение, которое в позднейшей традиции бы-
 ло отождествлено с Адом. *Властелинъ* Геенны –
 это, конечно, Сатана, диавол, хотя Ф.В. Булгарин
 (с явной оглядкой на цензуру) толковал это место
 иначе: “Поэтъ оживляетъ въ воображеніи древня-
 го Аримана, или Тифона, генія зла, и приписыва-
 етъ ему сїю борьбу стихій” [34]. Однако именно
 диавол *по вселенной розлилъ горе* – это апокалип-
 тический мотив: “гóre, гóre, гóre живѣщымъ на
 землѣи <...>” (Откр 8: 13); “Гóre живѣщымъ на зе-
 млѣи ѿ мóри, ѿкъ снѣде дѣволъ къ вѣнѣ, ѿмѣл
 ѿростъ великъю <...>” (Откр 12: 12). Задаваясь
 вопросом, *не тотъ-ли злобный духъ, геенны вла-
 стелинъ* повелевает бурей, поэт вводит текст эле-
 гии в противоречие с канонической символикой:
 в Ветхом завете морская буря – дело рук Господ-
 них, она символизирует гнев Божий (Пс 106: 23–
 26; Иона 1: 4, 12); у евангелиста Марка морская
 буря подчиняется слову Иисуса (Мк 4: 37–41). На-
 конец, *огромные крылья* властителя Геенны – это
grand’ali Люцифера в изображении, нарисованном
 Данте Алигьери (“Inferno”, XXXIV, 46 сл.).

Итак, в поэзии пушкинского времени библей-
 ские интертексты приводят к русско-церковносла-
 вянской языковой интерференции, при которой
 русский текст инкрустируется морфологическими
 и лексическими славянизмами, а слова, общие для
 русского и церковнославянского, сохраняют цер-
 ковнославянские значения и валентности. В таких
 случаях поэтическая неоднозначность создается
 благодаря взаимопроникновению языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трубецкой Н.С. Общеславянский элемент в русской культуре // Вопр. языкознания. 1990. № 2. С. 126.
2. Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 167.
3. Пильщиков И.А. Комментарии // Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений и писем. М., 2002. Т. 1.
4. Пильщиков И.А. Язык классической элегии: лексика, фразеология, формулы и клише: (предварительные

замечания) // Славянский стих. VII: Лингвистика и структура стиха. М., 2004. С. 296–297.

5. Баратынский Е. Стихотворения. М., 1827.
6. Виноградов В.В. Язык Пушкина: Пушкин и история рус. литератур. языка. М.; Л., 1935. С. 272, 311–312.
7. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941.
8. Баратынский Е. (Элегия) (“Заснули роши над потоком...”) // Нев. Зритель. 1820. Ч. I. Март. С. 54–55.
9. [Баратынск]ий [Е.] Элегия (“Дремала роща над потоком...”) // Сын Отечества. 1821. Ч. 71. № 27. С. 39.
10. Millevoye C. Élégies, suivies d’Emma et Eginarg, Poëme; et d’autres Poésies, la plupart inédites. Paris, 1812.
11. Баратынский [Е.] Падение листьев // Новости Лит. 1823. Кн. III. № XII. С. 186.
12. Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806–1822. Ч. I–VI.
13. Милонов М. Падение листьев. (Элегия) // Вестн. Европы. 1812. Ч. 61. № 3. С. 203.
14. Милонов М. Сатиры, Послания и другие мелкие Стихотворения. СПб., 1819. С. 81.
15. Баратынский Е. Стихотворения. М., 1835. Ч. I.
16. Батюшков К. Опыты в Стихах и Прозе. СПб., 1817. Ч. II. С. 17, 18.
17. Баратынский [Е.] Финляндия // Соревнователь Просвещения и Благотворения. 1820. Ч. X. № V. С. 169.
18. Жуковский В. Песнь Барда над гробом Славян-победителей // Вестн. Европы. 1806. Ч. 30. № 24. С. 268.
19. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1986. Вып. 11; 1999. Вып. 24.
20. Ободовский Пл. Плач Давида о смерти Саула и Ионафана: Элегия // Благонамеренный. 1822. Ч. XIX. № XXXVIII. С. 461.
21. Остолопов Н. Об Элегии: (Из Словаря древняя и новыя Поезии) // Вестн. Европы. 1815. Ч. 84. № 22. С. 104–105 примеч. 10.
22. Филиппович П.П. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. Киев, 1917. С. 175.
23. Куприянова Е., Медведева И. Комментарии к стихотворениям (к тому I) // Баратынский. Полное собрание стихотворений. [Л.], 1936. Т. II. С. 227–228.
24. Suchanek L. Poezija liryczna Eugeniusza Boratyńskiego. Kraków, [1977]. S. 57.
25. Державин. Сочинения. СПб., 1808. Ч. I. С. 62, 63.
26. [Пушкин А.] Элегия (“Погасло дневное светило...”) // Сын Отечества. 1821. Ч. LXV, № 46. С. 271.
27. Пушкин А. Евгений Онегин: Роман в стихах. СПб., 1832. Последняя глава. С. 31.
28. Жуковский [В.] Алина и Альсим // Амфион. 1815. Кн. VI. С. 105.
29. Пушкин А. Стихотворения. СПб., 1826. С. 125.
30. Баратынский Е. Пирь // Соревнователь Просвещения и Благотворения. 1821. Ч. XIII. № III. С. 383.
31. Сев. Цветы на 1825 год. СПб., 1824. С. 263–265.
32. Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П.И. Щукина. М., 1902. Ч. X. С. 413.
33. Литературный Музеум: (Цензур. Материалы I^{го} отд. IV секции Гос. Архив. Фонда). Пб., [1922]. [Т.] I. С. 15.
34. Сев. Пчела. 1827. 6 дек. № 146.

